



В конце восьмидесятых Анатолий Приставкин потихоньку давал своим семинаристам почитать привезенные с Запада русские книжки. "Москва 2042" Владимира Войновича, помнится, была обернута в мутную кальку; прижмешь ее — видно название на обложке, отпустишь — слова расплываются. Вроде бы уже не запрещено, но случайным людям лучше не показывать. Гласность. Потом Войнович в потоке "отложенной" литературы попал на страницы журналов. Главный редактор "Юности" воевал с художником, который, подчеркивая фантазмагоричность "Чонкина", придал героям романа портретное сходство с партийными лидерами: текст печатать было уже можно, картинки — еще не вполне. И это тоже была гласность — два-три года упоительного чтения, десятилетиями копившегося в столах, в закрытых архивах и за "железным занавесом", куда вытолкнули писателей, оказавшихся вполне нашими.

— Владимир Николаевич, напомню — не вам, разумеется, а читателям "ВК", — сюжет вашей "Иванькиады". Партийный функционер отбирает у героя-рассказчика — у вас — квартиру. Ему нужна дополнительная площадь — единственное основание для того, чтобы переболеть в безумной борьбе "самую гуманную" конституцию, законы, декларируемые режимом принципы. Когда я прочел эту повесть — еще, помнится, из-под полы, — мне стало жалко вашего противника Иванько. Казалось, что ему ничего не остается, кроме как покончить с собой.

— Да нет, он жив-здоров. В восемьдесят девятом — девяностом годах я жил в Вашингтоне, и Иванько оказался моим соседом. Работал он главным редактором издания "Советский лайф" — "Советская жизнь". По-моему, он и сейчас там, только журнал изменил название. А его сын — представитель ООН в Боснии, его часто показывают по телевизору.

— Интеллигенция обличает, читатель негодует, номенклатуре — все Божья роса. У вас руки не опускаются?

— Нет. Все же в России произошли колоссальные события. Они меньше, чем хотелось бы, но больше, чем можно было себе представить. Согласен с вами, сейчас идет восстановление той же системы с теми же людьми на тех же местах, только под другим названием. Но старое поколение аппаратчиков вымрет, придут другие люди. Традиции — да, останутся, за одно поколение их переломать очень трудно. И все же наша беседа на эти темы в газете была невозможна в годы, когда я писал "Иванькиаду".

— Где вы больше живете — в Баварии или в России?

— Последний раз я жил там два месяца, а вообще больше времени провожу в Москве.

— В каком году вы вернулись?

— Трудно сказать. Первый раз после эмиграции я приехал в восемьдесят девятом с немецким паспортом и с визой на две недели. В девяностом вернули гражданство, в девяносто первом дали квартиру...

— В среде эмигрантов, очевидно, бытует свой миф о России. Что вы испытывали, возвращаясь, — не казалось, что здесь медведи по улицам ходят?

— Мне как-то давным-давно задали такой же вопрос в Хабаровске. А я говорю, да я сам только что видел на улице медведя, его два мужика вели на цепях... Нет, я в этом смысле фаталист. И раньше не боялся жить в СССР, и возвращался без страха. И потом, я был уже не безвестный человек, с которым можно сделать что угодно... Я ехал, и мне было интересно, что произошло. А произошло к тому времени мало до смешного. Например, прихожу в какой-то журнал, то ли в "Юность", то ли в "Дружбу народов", и говорю: можно мне сделать сверкопию? У меня была страничка какого-то безобидного текста. Мне говорят, своего коерокса в редакции нет, но мы пойдем в Союз писателей, там Верченко завизирует, Кобенко поставит подпись — и пожалуйста. А проще нельзя? Можно, говорят. В Германии.

— Такой порядок был для всех или только для Войновича?

— Для всех, чтобы "самиздатом" не баловались — видите, как легко забывается несвобода?! А еще я вез свои книги, таможня посуетилась немного, но пропустила. А потом именно этот чемодан у меня украли. Думаю, КГБ — им не хотелось вступать в явный конфликт...

— Владимир Николаевич, я смотрю, библиотека у вас без случайных книг. Сразу видно, что начали собирать недавно.

— Да, эта библиотека — без прошлого. Как-то часть старой осталась в Мюнхене. А здесь из прошлой жизни — Цвейг и БСЭ пятьдесят первого года, она мне нравится своими глупостями. Когда эмигрировал, раздавал большинство книг. Некоторые мне сейчас возвращают. Приятно.

— А сколько раз приходилось собирать библиотеку сначала?

— Много раз, и не только библиотеку. Я родился в Таджикистане, отца посадили, мы успешно переехали на Украину, а там война, эвакуация... Да и после войны переезжали с места на место, случалось терять все. Мать умерла, в нашем доме жили какие-то бомжи и книгами и рукописями жила топили печку.

— У вас этакая правильная для советского писателя биография: столарь, слесарь... А начинали вообще пастухом. Кого пасли?

Владимир ВОЙНОВИЧ

«Мы не заслужили такого долгого наказания за то, что Адам и Ева съели яблоко»

— Всех. Свиной, телят, коров. Самое ужасное — пасти телят: выйдешь, а они в лес как рванут — и в разные стороны.

— Ваше отношение к русскому ПЕН-центру?

— Конфликтов у нас пока что не было, но мне они не нравятся. Когда образовался русский ПЕН и его тогдашний президент Анатолий Рыбаков сказал, что туда войдут русские писатели независимо от их гражданства, я ждал приглашения. Членство в ПЕНе никаких льгот не дает — я, нескромно говоря, хотел участвовать в возрождении России. Позже, на писательской конференции в Дублине, я встретил русскую делегацию во главе с уже новым президентом — Андреем Битовым. Спросил, почему не приглашают эмигрантов. А мне один из коллег говорит: ты же во французском ПЕНе! Я говорю: а тебе не странно, что я, русский писатель, живущий в Германии, состою во французском ПЕНе? К слову, они присылают какие-то отчеты на французском языке, а я их выбираю; просил на английском, который знаю, — они ответили, что не могут... Прошло какое-то время, и Битов — не лично, а через кого-то — сообщил, что я должен собрать рекомендации, написать заявление. Я ответил: если вы считаете, что без рекомендаций меня принять нельзя, то и не надо. Но стали возникать некоторые коллизии: то просят подписать какое-нибудь обращение ПЕН-клуба, то выступить на круглом столе ПЕН-клуба на телевидении. Я каждый раз отвечал, что не могу — не принят, и каждый раз мне говорили: как, не может быть! И дело опять кончалось этими рекомендациями. Наконец помощник Битова связался со мной через своего секретаря — наверное, сэкономил время — и говорит: вы приняты в русский ПЕН. Очень хорошо. Он говорит: я подчеркиваю, что вы приняты без заявления и без рекомендации. Правильно, говорю, потому что просить рекомендации я не собирался. Хочу сказать, говорит мне помощник Битова, что вы оказались в очень хорошей компании. А я отвечаю: ну и вы оказались в неплохой компании со мной... Похожая история была у меня в Германии — звонят: хотим оказать вам честь, пригласить на конференцию. Нет, говорю, увольте. Звонят на следующий день: окажите нам честь — конференция и обед. А я: спасибо, уже отобедал. Но мы, говорят, готовы пригласить вас даже с супругой! Так вы, спрашиваю, сначала хотели пригласить без супруги? Тогда тем более не нужно, она тоже отобедала.

— Мне как-то в трудный год досталась гуманитарная помощь как молодому писателю. Чечевицы, помнится, было кило-

граммов пять... В принципе это очень мило, но когда доходит до распределения, всегда унижительно. Немецкие советологи, немецкие слависты начинают определять, кто у нас хороший писатель, кто похуже, кому грант, кому чечевицы...

— Немецкие слависты — жуткие невежды. Они в русской литературе выискивают никому не известные имена и начинают вокруг них плясать — объявляют кого-то лучшим писателем всех времен. У них странная система обучения: выпускники, например, Мюнхенского университета имеют смутное представление о Пушкине, Толстом, Гоголе. Хармса они хорошо знают. Я тоже люблю Хармса, но нельзя же считать, что русская литература шла только по этому пути. Они пишут невероятные работы — "Тема нуля в русской литературе", "Ничто в русской литературе". И в соответствии с такими представлениями они распределяют между нашими писателями деньги, причем не свои. Были бы свои — вольному воля... Единственный толковый славист в Германии — Вольфганг Казак. Он знает, что такое русская литература, а насчет остальных я сомневаюсь.

— У нас что ни известный писатель, то властитель дум, а когда и проповедник самодельной религии. Вам подобное не приходило в голову?

— Я считаю, что каждый человек изобретает свою религию. Даже среди тех, кто ходит в церковь, каждый по-своему толкует свои отношения с Богом. Я не верующий, но и не атеист. Потому что, как известно, верующий верит, что Бог есть, атеист верит, что Бога нет. Я отношусь к незнающим. Знаю, что есть какая-то сила, но не разделяю представлений о том, что человек создан по образу и подобию, не думаю, что Бог милостив. Мы не заслужили такого долгого наказания за то, что Адам и Ева съели яблоко. Даже советский суд не присудил бы к столь жестокому наказанию.

— Потребовало ли от вас каких-нибудь усилий возвращение в Союз писателей?

— Это была, по-моему, одна эпопея — возвращение гражданства СССР и возвращение в Союз писателей. Сначала приглядывались, при-

слят по библиотекам, и неважно, будет ее там читать или нет. А вас, например, хотя бы читать, но какой-то чиновник все равно определит вам тираж в тридцать тысяч. Нет, литература должна пасть на воле. Хотя, к сожалению, на воле ей становится все хуже и хуже. Ее убивает кино, кино убивает телевидение, телевидение убивает электронные игры... Свобода и рынок неразрывно связаны. А на рынке господствует массовый спрос, массовый вкус, который тоже портится — человек деньги зарабатывает, ему некогда читать, разве что детектив в самолете. Но это не значит, что ради образцов высокой литературы, которые были в советское время, надо возвращаться к тоталитарному режиму, пусть лучше он погибнет вместе со всей литературой.

— Я вообще-то не призвал вернуться к прошлому.

— Да и я не желаю гибели литературы — это было максималистское заявление. Надо существовать в рыночной реальности, осознавая, что у серьезной литературы много конкурентов. Мне рассказывал один писатель в Лос-Анджелесе, как он шел с нашим, приехавшим из России поэтом, а у книжного — очередь чуть ли не на квартал. Наш спрашивает: это за чей книгой стоят — какого-нибудь поэта? Американский коллега засмеялся. Подошли, спросили — оказалось, стоят за биографией какого-то бейсболиста... Боевики, порнография, мемуары рок-звезд, теннисистов и маршалов, и только в конце — художественная литература.

— Шестидесятники дали самый большой после двадцатых годов всплеск хорошей литературы и самое большое количество диссидентов. Почему? Вы чувствовали себя обманутым "оттепелью"? Я это к тому, что вы написали "Заправлены в планшеты космические карты" — очень правильно советскую песню, а спустя пятнадцать лет были лишены гражданства.

— Одна из причин, по которой я такие песни писал, была анекдотическая. Как-то приятель мне сказал, вот ты ругаешь Ошанина и Долматовского, а сам так не можешь. И когда я стал работать на радио и появилась возможность найти композитора, я попробовал доказать себе, что могу и так, и лучше, а не просто злопыхательскую оттогу, что сам не умею. Вторая причина — я пробивался. Знал, что таковы условия игры: надо что-то этому государству дать, чтобы опубликовать другие свои вещи. Я ведь одновременно писал и "неправильные" стихи; когда одно из них было несколько лет спустя напечатано, маршал Малиновский сказал, что оно стреляет в спину Советской Армии... При моей биографии я не мог быть очень советским. Антисоветским тоже не был. Скажем так: я был асоветский. Конечно, и Гладылин, и Аксенов, и Владимир, и Максимов — мы все были неортодоксальны, все между строк показывали свое критическое отношение к действительности. И смогли проявиться благодаря "оттепели". А когда свергли Хрущева и брежневская компания стала восстанавливать сталинские порядки, мы оказались с ними несовместимы. В литературе стали разрешать все меньше и меньше, а я развивался в другую сторону, уже писал "Чонкина". Если за несколько лет до этого мне хватало свободы времен "оттепели", то потом ее стало мало, а мне и ту, прежнюю, свободу обрезали. Году, кажется, в шестьдесят вторым Окуджава мне сказал, что сейчас у него такое время, когда он может печатать все. А я сказал, что и у меня то же самое. Но все и кончилось шестьдесят вторым годом — я пошел в одну сторону, цензура — в другую. Хотя обманутым я себя не считаю, поскольку никогда не доверял партийным вождям.

— Вам не кажется, что сейчас все повторяется? Переворот в правительстве, переворот в умах — и установление рамок, пока что зыбких...

— Ничего из написанного мною пока что не запретили. Хотя я вижу некоторые попытки ограничить свободу и буду одним из тех, кто попытается им противодействовать.

— Дело "Кукол"; обвинение Елены Масюк — журналистки, взявшей интервью у Шамиля Басаева; как "особо опасную" девять месяцев держат в тюрьме до суда Алину Витуховскую, писавшую о распространении наркотиков, — ее обвиняют в продаже наркотиков на семь долларов и шестьдесят тысяч рублей; наконец анекдотическое дело Димы Быкова — выпустил матерную газету, обвиняют в хулиганстве, и занимается этим не участковый милиционер, а прокуратура — государственное, надо полагать, преступление...

— Я тоже позволяю себе некоторые отклонения от нормативной лексики, чего раньше не делал. Литература тем и отличается от многого другого, что в ней каждое слово единственное и стоит на своем месте. Ни слово "каша", ни мат не нужно употреблять без необходимости, а если такая необходимость возникла — почему нет? Существуют же высокие образцы — "Николай Николаевич" Алешковского, некоторые вещи Венедикта Ерофеева... А в общем, за тем перечнем уголовных дел, который вы привели, чувствуется некая проба сил. Я с отращиванием отношусь к таким попыткам прибегнуть к помощи правосудия, а особенно неправосудия. Как-то я подписывал письмо в защиту издателя газеты "Еще", потому что считал, что свобода не может быть наполовину. Другое дело — административные ограничения. В Германии порнография не выставляется на витрины, кому надо — подойдут и спросят. Ни больше, ни меньше. Или, скажем, в фильме про войну ругаются — это достоверно, но только же песенки пели в окопах. Но в программе должно быть указано, что фильм не для детей, и я бы лишил лицензии телеканал, который пустил бы его в "детское" время. Задача государства — регулировать такие вещи: лицензировать, штрафовать. Но не сажать же! Отвечать насильем на слово — безнравственной, чем прозисонит самые грязные слова. Человек вправе распоряжаться своим словом, своим телом. Он от рождения получил это право. А иной взгляд ведет к беспределу: "оскорбление нравственности", "оскорбление власти" — такие же безразмерные формулировки, как "антисоветская пропаганда", по ним можно вою страну пересажать.

В гости к писателю ходил Евгений НЕКРАСОВ. Фото Игоря ИВАНДИКОВА и Виктора АХЛДКОВА.



Владимир Войнович, Илья Зверев, Фазиль Искандер, Георгий Владимов. 1963 год.

Большой зал «ВК»